

РОДНОЕ

Обрывки воспоминаний, путаясь и натыкаясь друг на друга, роятся в усталом мозгу. Все они приблизительно одной поры, но никак не хотят рисоваться чётче, становиться в стройный событийный ряд. Память бессильна. И всеильна, если яркими вспышками всё же высвечивает эти давние мгновения жизни...

Душный, добела раскалённый июль. Бабушка в сарае варит варенье. Вишнёвое, моё любимое. Сарай приспособлен под летнюю кухню, и дышать в нём сейчас нечем – потрескивая, гудит керогаз, в эмалированном тазу ворчит и хлюпает варенье, одурело, неповоротливыми бомбовозами над тазом кружат осы.

Мне восемь лет. Я торчу на высоком пороге сарая, глядя, как бабушка снимает с варенья рыхлые розовые пенки и собирает их в гранёный стакан. На голове её цветастый платок – я не помню бабушку простоволосой, как не помню и без папиросы во рту или в руке; лоб орошён крупной испариной, на кончике длинного носа, норовя сорваться вниз, блестит большая капля.

Густой аромат варенья смешивается с запахом свежепиленной древесины: вдоль задней стены сарая, на высоту моего роста – поленница. Её вчера сложил я. Отец с одним из дядьёв, маминым братом, пилил во дворе сосновые брёвна, а потом ловко колол чурки большим топором. К зиме поленница будет под самую крышу и в несколько рядов.

На притолоке, прямо над моей головой, горит в солнечном луче красная звёздочка с армейской фуражки. Звезда аккуратно закреплена в деревянный брус маленькими гвоздиками и светится здесь всегда. Чья она? Отца или одного из многочисленных моих дядек? Решаю, вечером непременно прояснить вопрос. И, конечно, забываю.

Бабушка рукой отгоняет настырных ос, снимает таз с огня и, уперев его краем в тощую грудь, несколько раз встряхивает. Варенье кругообразно болтается в тазу, проскальзывая по самому краю, но не выплёскиваясь, и снова начинает покряхтывать на керогазном огне. Бабушка отступает на шаг и раскуривает погасшую папиросу – должно быть, папиросу потушила та самая капля, сорвавшись с бабушкиного носа.

– Бауш, дай пеночек, – прошу я.

– Сдурел? Осы там, – и, пока я, приподнявшись на цыпочки, разглядываю вяло барахтающихся в стакане насекомых, бабушка рассказывает страшную историю про то, как её знакомую осу, проглоченная вместе с вареньем, ужалила в горло, и та задохнулась в одночасье. Бабушка заканчивает: – Вот я их повылавляю, тогда дам...

У меня, как, наверное, у всех, было две бабушки. Жили они почти напротив друг друга, и обеих звали Олями. Чтобы не путаться, мы с сестрой и наши родители, а потом уже и все остальные, никогда не называли бабушек по имени – так и говорили "бабушка Петровна" (это мама нашей мамы) или "бабушка Гавриловна" (мама нашего папы). За мной больше присматривала и воспитывала меня Гавриловна, в доме которой и жила наша семья; сестру же – она старше на два с половиной года – отдали на догляд и воспитание Петровне, и почти весь длинный летний день сестра проводила в доме напротив, через трамвайную дорогу...

Гавриловна строга, спуску мне не даёт. Она находит меня в самых потаённых уголках нашей улицы и даже в соседнем заросшем пыльными кустами грязном, помойном рву, по дну которого зловонно струится ручей со смешным названием Ленивец. Бабушка тихо подходит и, взяв за руку, выдёргивает меня из компании сверстников, готовящихся форсировать Ленивец по наведённой собственноручно переправе. И ведёт обедать.

Жарко, и есть хочется только огурцы, но у Гавриловны свои представления о питании ребёнка, и она заставляет меня съесть щи, а потом ещё и картошку, тогда как сама всегда только пьёт чай с булкой.

Отец называет Гавриловну на "вы" – наверное, он тоже её побаивается...

Морозящее осеннее утро. В школу и сестре, и мне идти во вторую смену, потому сидим за столом, покрытым зелёной плюшевой скатертью, которая поверху, для страховки, застелена газетой, и скучно завтракаем. Бабушка Гавриловна дала нам манную кашу, положив в тарелки по хорошему куску масла, и ушла по своим делам в другую комнату. Стол стоит у окна, вид из которого... В общем, смотреть особо не на что: потемневшая от дождя бревенчатая стена соседского дома, украшенная наискось глубоким шрамом от снарядного осколка военной поры.

Мы не любим манную кашу! И об этом знает весь мир, кроме бабушки Гавриловны. Проходя за нашими спинами, она заглядывает к нам в тарелки и возмущается, найдя их полными:

– Да вы что, совсем дохлыми хотите быть? Ну-ка ешьте быстро! – и горестно добавляет: – Ох, завербуюсь я от вас...

Что такое "завербоваться", мы не знаем, но слово, скорее всего, страшное, потому что бабушка так говорит всегда, когда нами недовольна. Кстати, непонятно, почему "совсем дохлыми"? Я – мальчик вполне упитанный, сестру тоже худышкой не назовёшь. Вот сама Гавриловна худовата...

Бабушка возвращается с банкой вишневого варенья, говорит, ставя её на стол:

– Может, теперь дело шибче пойдёт. Кладите в кашу...

Варенье мы охотно съели бы отдельно, но делать нечего – добавляем по большой ложке в кашу. Еда в наших тарелках сразу делается мистически лиловой, с чёрными бугорками вишен. Аппетита это не прибавляет, и мы находим себе развлечение: выковыриваем из загустевшей каши ягоды и, съедая сморщенную мякоть, плюём косточки на стол. Маслénка у нас – школа, а банка с вареньем, стоящая поодаль, – многоквартирный дом, из которого идут в школу ученики-косточки. Плюнуть надо метко, чтобы косточка застряла на пути из "дома" в "школу". У меня получается лучше.

– Смотри, смотри! – восторженно кричу, видя, что косточка, выплюнутая сестрой, улетела дальше положенного. – Твой опять прогулять собрался! В кино, наверное, пошёл!..

Снова призраком возникая сзади, Гавриловна выдаёт нам по подзатыльнику. Мера действует куда лучше уговоров, и завтрак заканчивается скоро...

Зима. Со двора не выпускают, чтобы не извалялся в снегу, катаясь с крутых склонов помойного рва. Как будто я не изваляюсь во дворе, где тоже полным-полно привлекательных сугробов!

За какой-то надобностью забредаю в сарай и нахожу на старом сундуке топор. Его лезвие почему-то перемазано жёлтым крупчатым мёдом. Интересно, что это значит? Или мёд так замёрз, что его пришлось рубить топором? Трепетно принохиваюсь – действительно, мёд! Удержаться и не лизнуть нет сил. Мёд тает на тёплом языке, чудесным нектаром проскальзывает в горло... А язык остаётся на промёрзшей до звона железке. Конечно, я ору. Мне больно, мне страшно, мне хочется пожаловаться маме, что подлый топор схватил меня за язык, впился в него зубами и не хочет отпускать. Но хорошо у меня получается только диковатое, отрывистое мычание.

Дома топор, а заодно и мой язык, отливают тёплой водой, освобождая их друг от друга, но ещё несколько дней я не могу нормально кушать...

Этот подвиг членовредительства я повторю через три года. Мы, четвероклашки, вдвоём с приятелем будем возвращаться из школы узкими дворами пятиэтажных домов, где стоят этакие железные штуки в виде буквы "П", вкопанной в землю – они предназначены для сушки белья, но очень неплохо могут служить футбольными воротами или вместо волейбольной сетки. Приятель зачем-то предложит мне лизнуть одну из железных стоек, и я, дурак, уже имеющий горький опыт таких контактов, послу-

шаюсь его... Домой, отливаться водой, с громоздкой каркасиной на языке не победишь...

Кстати, о мёде. Ещё через два года, с тем же приятелем, опять же после уроков, мы забрели в гости к третьему нашему товарищу и втроём – не скажу, что времена тогда были очень уж сытные, – слопали трёхлитровую банку великолепно засахарившегося мёда. Не буду рассказывать, как мне было нехорошо, но больше мёда я не ел никогда в жизни...

Снова лето. Марево над просёлком причудливо клубится и завивается – кажется, вот-вот из горячих сгустков проявится сказочный джин и громовым голосом станет вещать что-нибудь про исполнение моих желаний. Мы всей семьёй идём в лес, называющийся непонятно и даже страшновато – Андриабуж...

Мы приехали на дряхленьком автобусе. Я сидел на переднем сиденье – получалось, только мы с шофёром смотрим вперёд через лобовое стекло. Я представлял, что мчусь на мотоцикле: крутил рукой поручень, добавляя газу; вдавливал ногами в пол воображаемые педали, притормаживая; наклонялся в сторону на поворотах, удерживая равновесие своего стального коня.

Рядом с отрешённым лицом сидела бабушка Гавриловна. Вдруг она почему-то засуетилась, встала и шагнула к водительской кабине. Автобус тряхнуло, и бабушка нелепо, не выпуская из рук маленький алюминиевый бидончик с молоком, упала...

И вот мы шагаем пыльной дорогой к лесу. Вернее, шагают впереди отец с мамой, несущие сумки с едой, а мы с сестрой плетёмся следом. Гавриловна замыкает процессию.

Может быть, даже наверняка, с нами идёт кто-то из наших дядей и тётей, но память не пускает меня глубже, отказывается рисовать все детали этой картины... Но перед глазами посейчас стоят ярко-белая молочная лужа на затоптанном автобусном полу и бледные, отдающие синевой, худые бабушкины ноги под задравшейся юбкой. Сердце больно сжимается на миг, замирает и снова гулко толкается в рёбра... Ну зачем, зачем она взяла в лес это молоко?..

Лес стоит высоко, подпирая громаду своей кроны берёзовыми, осиновыми, ольховыми стволами. Здесь хорошо – пыль и зной остались на дороге. Мы приехали не за грибами и ягодами, а чтобы просто быть в лесу: сидеть на разостланном под кустом покрывале, хрустеть огурцом и прихлёбывать терпкий квас, слушая монотонный разговор беспокойных листьев и ленивую переключку неведомых птиц, а потом играть на полянке в бадминтон...

Мы с сестрой заблудились. Отошли-то от полянки чуть-чуть и... потерялись. Ходим битый час во все стороны и никак не можем выйти к родителям. Покричать, поаукать не догадываемся или почему-то боимся. Я уже тихонько реву.

– Не плачь, – говорит сестра. – Сейчас пойдём вон за те кусты и найдёмся. Туда мы ещё не ходили... кажется.

А у самой голос испуганный, и в глазах отчаянье.

Выходим за кусты и натыкаемся на нашу стоянку и папу с мамой. Они и не думали беспокоиться – встревожилась и отправилась на поиски одна бабушка. Она появляется из чащи, как всегда, молчаливая и неулыбчивая. Впрочем, ругать нас никто не собирается, и мы лежим на покрывале в окружении родных людей, с которыми хорошо и спокойно, и весело болтаем ногами...

В обратный путь по дороге Гавриловна ведёт меня за руку. Я устал, ноги идти не хотят. В автобусе сонно рассказываю бабушке, как мы, когда потерялись, нашли ёжика – он круглый и колючий, но совсем не страшный. Мы не стали его мучить и отпустили домой.

Гавриловна вынимает изо рта потухшую папиросу, смотрит на меня старыми глазами и тихо говорит:

– Оно хорошо, когда по-доброму. Легше так...

Июль 2005 г.